

Феномен Горбачева

Данный текст — «заметки на полях» мемуаров М. Горбачева. Это не рецензия и не попытка всесторонне оценить эти мемуары как исторический источник. Это попытка найти в мемуарах или с помощью мемуаров ответы на ряд вопросов, связанных с личностью и исторической ролью мемуариста. (Далее цитируется немецкое издание.)

К сожалению, мемуары исторических деятелей — почти всегда плохой источник для понимания их личностей. Роль политика не предполагает интроверсии. Политический «естественный отбор» — неважно, идет ли речь о демократической, придворной, бюрократической или любой иной политике — отбрасывает на обочину людей, слишком склонных к «самокопанию» и мучающихся и размышляющих там, где надо говорить и действовать. Кроме того, политик, даже лишенный власти, — все равно «действующий», и мемуары всегда в той или иной мере — акт политической борьбы. Мемуары политиков, начиная с Юлия Цезаря, — это всегда «отчеты о проделанной работе», причем составленные так, чтобы они были одобрены общественным мнением, и никогда не «Исповеди». Это относится и к мемуарам Горбачева. Горбачев стремится показать, что он сделал; в его мемуарах полным-полно расшифрованных записей разных встреч и бесед, которые вводятся словами «Я сказал...», и почти нет воспоминаний о том, что он при этом чувствовал и думал. Это очень жалко, ибо «невесомая» материя невысказанных мыслей и чувств, страхов и надежд, симпатий и антипатий — это как раз и есть та основа истории, из которой вырастают слова и действия, но, очевидно, — неизбежно. Не много в мемуарах и живых портретов разных персонажей нашей истории. Нет никаких ярких характеристик Лукьянова, Павлова, Рыжкова, тем более — Буша, Коля и т. д. При этом у автора, безусловно, достаточно наблюдательности, и там, где речь идет о людях умерших и никакого значения сейчас не имеющих, например, Чаушеску, появляются живые и интересные портреты. Чем более свободен, раскован Горбачев, тем интереснее он пишет, и, по-моему, самая яркая часть мемуаров — это рассказы о «догорбачевском» времени. Но раскован он, естественно, довольно редко.

И тем не менее «Мемуары» — все же основной источник для понимания жизни, личности, деятельности их автора — человека, историческое значение которого переоценить трудно, одной из «ключевых» фигур истории XX века, и отнюдь не только российской.

ОЦЕНИТЬ РОЛЬ ГОРБАЧЕВА — это значит понять, что было бы с Россией и миром, если бы его не было, какой веер возможностей остается, если мы исключим ту, которая действительно реализовалась в его деятельности.

Уникальная человеческая личность — это то, что приходит в историю «извне». Поэтому ровно настолько, насколько то или иное событие или цепь событий детерминированы историческими и социальными закономерностями, настолько мала роль личностей — вершителей этих событий. Если, например, Октябрьская революция была predeterminedена всем ходом российской истории, была «запрограммирована», то Ленин — фигура, легко заменяемая на любую другую. (Поэтому «марксистско-ленинское» стремление максимально детерминировать исторический процесс и одновременно — максимально возвеличить Ленина логически противоречиво.) И, наоборот, насколько Октябрьская революция была событием маловероятным, настолько роль Ленина велика.

То же самое, разумеется, относится и к Горбачеву. Насколько старый строй прогнил, а перестройка и рыночные и демократические преобразования были подготовлены всем ходом российской и советской истории, настолько мала роль Горбачева. В ситуации «мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось» заслуга принадлежит не мышке, а крайней неустойчивости яичка — не пробеги эта мышка, очень скоро пробежала бы какая-нибудь другая или вообще произошло что-нибудь, что привело бы к тому же результату. Если же наша система в 1985 году была еще очень устойчива и возможности ее «горбачевской» демократической трансформации были ничтожны, тогда роль Горбачева громадна. (Поэтому очень логично, что люди типа Б. Олейника или А. Прохорова, считающие наш старый строй очень «здоровым» и прочным, поднимают роль Горбачева, хотя, естественно, оценивают ее отрицательно, до «оккультно-мистического» уровня демона и посланца Сатаны.)

Я думаю, что как-либо точно и однозначно определить роль Горбачева нельзя. Прежде всего мы еще крайне плохо представляем себе природу и логику развития советского общества. То, что перестройка явилась неожиданностью для всех и не только для нас, но и для Запада, при всей развитости западной социологии и политологии и при всем громадном количестве людей, серьезно занимавшихся там СССР (перестройка, можно сказать, явилась громадным провалом западной науки), может говорить как о маловероятности «явления Горбачева», так и о полном непонимании процессов, происходивших в советском обществе. Но гипотетичность любых возможных ответов на вопрос о роли Горбачева связана не только с преодолимой неразвитостью наших общественных наук. Это принципиальная гипотетичность. Совершенно неверно, что история, как это часто говорят и как это иногда говорит сам Горбачев, «во всем разберется». История все снова и снова разбирается и будет разбираться, пока существует человечество, пересматривая свои суждения в свете новых знаний и нового опыта. И о перестройке и Горбачеве еще будут написаны сотни книг и выдвинуты сотни концепций. Тем не менее мне кажется несомненным, что, хотя советская система, безусловно, развалилась бы и без Горбачева, окажись на его месте другой человек, это произошло бы позже, ибо определенный запас прочности у нее еще был. Приди в 1985 году вместо Горбачева какой-нибудь «продолжатель дела Брежнева», он мог бы, не проходя, как Горбачев, через все муки перестройки, править и сейчас. Ничего «вещественного», «материального», системе не угрожало — не было ни революционных организаций, которые стремились бы ее опрокинуть, ни реальной угрозы извне. Система утрачивала и уже утратила свою «жизненную силу», веру в идеологию, на которой была основана, она становилась все более «хрупкой», и все больше возрастала вероятность какой-нибудь случайности, которая развалила бы все наше здание, появления той «мышки», которая «хвостиком махнула». Но лет на 20 ее вполне могло бы еще хватить. Поэтому появление в 1985 году во главе государства Горбачева значительно ускорило гибель системы. Важно однако, не только и не столько то, что Горбачев ускорил падение тоталитарной системы. Важно прежде всего то, как он это сделал. Я отлично понимаю, что о неосуществившихся вариантах можно спорить до бесконечности и доказать здесь что-либо практически невозможно. Я также уверен, что горбачевский вариант падения системы был не самым оптимальным — лучшие варианты были (вообще трудно представить себе, что реализовавшийся вариант — самый лучший или самый худший из всех возможных). Но все же, мне думается, что он был одним из наиболее оптимальных.

Худшие варианты были более вероятны, чем лучшие. Дело в том, что чем быстрее, неподготовленнее падение системы, тем больше опасность хаоса. Но хаос и какая-нибудь безумная возникающая из него диктатура в стране, начиненной ядерным оружием, — это уже не так далеко до конца света. Полностью хаоса мы не избежали — у нас все равно есть Кавказ и Закавказье, Таджикистан, был октябрь 1993-го. Но 6 лет горбачевской перестройки, относительно планомерного и последовательного демонтажа нашей системы этот хаос минимализировали. Не будь этих 6 лет, произойди гибель системы позже, а главное, не позже, а быстрее, без внесенной Горбачевым сознательности и планомерности, результаты могли бы быть во много раз более страшными. И эти 6 лет планомерного демонтажа не закономерность советского и российского развития, это то, что внес в историю Горбачев, что связано с его личностью.

Что же в этой личности способствовало выполнению такой исторической роли? Для чего он взял на себя эту работу? Для чего он сознательно и планомерно демонтировал систему, во главе которой он был, шел на ограничение своей власти и дошел в целом спокойно, без истерик, до логического конца — ее утраты? С какими психологическими чертами и какой идеологией это связано? "

КОГДА ЧИТАЕШЬ МЕМУАРЫ ГОРБАЧЕВА и просто вспоминаешь недавнее прошлое, наталкиваешься на массу однотипных психологических загадок. Если судить по тому, что говорят и делают теперешние каши политики и что они говорили и делали еще совсем недавно, и верить в их искренность и тогда, и сейчас, то получается, что все они в 1989—1990 годах прошли через одновременное массовое «прозрение» и «озарение». Где-то в это время взрослый, серьезный и много видевший человек атеист Эдуард Шеварднадзе понял, что Бог, о котором он думал, что его нет, на самом деле есть, и стал православным Георгием Шеварднадзе. В это же время Алиев, Назарбаев, Каримов и Ниязов поняли, что Маркс не прав, а пророк Магомет, напротив, очень даже прав. В то же время Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Лобов и т. д. (имя им — легион) поняли, что социализм, о котором они думали, что он — путь всего человечества и высшая формация, таковым не является, а напротив — формация совершенно безобразная, а хорошая — капитализм.

В мемуарах Горбачева иногда случайно, походя, говорится о каких-то фактах, которые позволяют мельком взглянуть в уже ушедший от нас предперестроечный и раннеперестроечный мир, где отношения, действия и речи людей были такими, что, исходя из их теперешних идейных ролей, они просто непредставимы. Например, оказывается, А. Н. Яковлев был старым другом В. Крючкова и рекомендовал его на пост главы КГБ; своим переводом в Москву и всей последующей карьерой Ельцин обязан Е. Лигачеву, специально ездившему по поручению Горбачева в Свердловск и убедившемуся, что это — настоящий, крепкий партийный руководитель, и этому же Е. Лигачеву обязан назначением на пост главного редактора «Огонька» В. Коротин. Ельцин при обсуждении доклада по случаю 70-летия Октябрьской революции был против положительного упоминания Бухарина и за большее подчеркивание роли партии и т. д. и т. п. А вот телеграмма Ельцина Горбачеву 7 ноября 1988 года: «Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите мои поздравления с нашим великим праздником, 71-й годовщиной Октябрьской революции. Я верю в победу перестройки и желаю Вам, чтобы Вы силами руководимой Вами партии и всего народа воплотили в нашей стране в жизнь то, что думал Ленин, о чем он мечтал». Как интерпретировать подобные факты?

- Конечно, можно все их интерпретировать посредством «модели прозрения», модели Савла, ставшего Павлом. Может быть, действительно, Ельцин в 1988-м сомневался, не

был ли Бухарин шпионом и опасным уклонистом, а в 1989-м стал сам яростным антикоммунистом. Может быть, из двух друзей — Яковлева и Крючкова — один где-то в 1988 году прозрел, а другой не прозрел. Может быть, действительно произошло одновременное массовое религиозное обращение руководителей разных республик в свои соответствующие религии. Но все это выглядит каким-то фарсом, говорить об этом серьезно, без улыбки, невозможно, особенно если мы примем во внимание, что все эти прозрения и обращения происходят именно тогда, когда они становятся для прозревших и обратившихся в отличие от новозаветного Савла-Павла очевидно выгодными. Если человек в 1988 году говорил одно, а в 1989-м — прямо противоположное, это может объясняться как тем, что на рубеже 1988-го и 1989 годов у него произошла коренная ломка мировоззрения, так и тем, что в 1988 году он попросту, врал. Эту вторую модель, модель маски, носившейся до удобного для ее снятия момента, мы можем условно назвать «моделью дона Руматы» или «моделью Штирлица».

Совершенно не случайно, что в брежневскую эпоху возникли и стали очень популярными такие образы, как созданные Стругацкими образы землян будущего, засланных на какие-то отсталые планеты, отдаленно напоминающие СССР, внедряющихся в их общества, занимающих там ответственные должности и пытающихся ускорить их прогрессивное развитие, и образ великого мастера идеологической мимикрии, с удовольствием и вкусом произносящего всякие фашистские слова советского разведчика. Эти образы, безусловно, в какой-то мере взяты из жизни. Мимикрии и двоемыслия в среде нашего руководства в позднесоветский период было более чем достаточно. В мемуарах Горбачева упоминается один поразительный факт. Оказывается, Ю. Андропов во время отдыха никогда не расставался с магнитофоном, на котором были записаны песни Высоцкого. Загадочный образ покровителя Горбачева, человека, избравшего его в свои наследники, руководителя КГБ, который, как пишет Горбачев, никогда и ни с кем не был откровенен (ко всему прочему, любимый певец которого — один из символов духовного сопротивления системе, то есть тому же КГБ), — очень близок образу дона Руматы или даже того же Штирлица. Но как картина массового прозрения высших эшелонов номенклатуры — картина фарсовая, так же гротескна и фарсова картина ЦК, КГБ и т. д., состоящих сплошь из убежденных антикоммунистов, старающихся по мере сил сделать что-нибудь «прогрессивное» в мрачном царстве тоталитаризма. Образ Яковлева, искусно выдающего себя за коммуниста и втирающегося в дружбу с Крючковым, как Штирлиц к Борману, — такой же водевильный, как и образ Яковлева, внезапно прозревшего, когда его старый друг остался «слепым».

В обеих этих моделях — модели прозрения и модели маски (логически допустимы еще две модели: людей, говоривших искренне тогда и лгущих сейчас, то есть Ельцина, остающегося в душе убежденным ленинцем, и людей, которые лгали тогда и сейчас тоже лгут, то есть без вранья просто не могут) — есть элементы истины. Безусловно, многие видные деятели брежневской эпохи ощущали себя кем-то вроде донов Румат или Штирлицев, оправдывая свою мимикрию тем, что кругом — люди ограниченные и догматичные (при этом, возможно, не подозревая, что в их окружении — люди, ощущающие себя так же, как и они) и что система — монолит, с которым ничего поделаться нельзя и не нужно, ибо может вспыхнуть «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»

(соображение, превращающее систематическую ложь во что-то, близкое к моральному долгу). Также несомненно, что мировоззрение многих из них в 1989—1990 годах действительно изменилось. Но реальность была сложнее этих моделей, как она была

сложнее и в какой-то их комбинации. Эта реальность, где мысль настолько связана с обслуживанием карьерных интересов, что грань между искренностью и неискренностью, обманом и самообманом практически отсутствует, где люди почти автоматически начинают не только говорить, но и думать и чувствовать, что подсказывает им особое «карьерное чувство», практически не поддается адекватному описанию и, если бы все эти люди сейчас искренне попытались передать, что они думали и чувствовали в то время, у них ничего бы не получилось. Как же в эту картину — иррациональную, болезненную и аморальную картину умирающего тоталитаризма — вписывается фигура Горбачева?

Разумеется, в какой-то мере обе модели — «прозрения» и «маски» — приложимы и к Горбачеву. Человек, поднявшийся по всем ступеням партийной лестницы и несший в душе «нечто перестроечное», не мог не быть «чуть-чуть Штирлицем», не мог не носить маску, не произносить пустые слова, в которые сам не верил, и произносить их с какой-то полагающейся мимикой. «Мемуары» воспроизводят некоторые вполне «штирлицевские» сцены с участием Горбачева — например, в очень ярком рассказе о пьянке первых секретарей обкомов в гостинице в Москве. Прозрение, конечно, тоже было. Горбачев говорит о громадном воздействии, которое оказал на него Иссык-кульский форум осенью 1986-го, на котором он впервые ощутил со всей силой разнообразие, единство и хрупкость современного человечества. Фразы типа: «как мучительно мы преодолевали догмы и предрассудки» (кто эти «мы»? — большая часть партийной элиты «преодолела» их с поразительной легкостью), о лабиринте догм, сквозь которые он с трудом пробирался, и т. д. разбросаны по всему тексту. Перечисляя разных ранее запрещенных авторов, изданных в начале перестройки, Горбачев пишет, как жалко, что он и люди его поколения не могли их прочесть в свое время.

Однако обе эти модели приложимы к Горбачеву меньше, чем к другим деятелям нашей эпохи. Дело в том, что, хотя идейные различия «доперестроечного» и «постперестроечного» Горбачева и велики, они совершенно несопоставимы с идейными различиями, например, Ельцина и вообще большинства нашей партийной элиты. Фразы типа: «Чудовище коммунизма повергнуто!» в горбачевских устах не представимы (хотя если есть человек, который может претендовать на роль победителя «дракона», так это, конечно, он). К Богу Горбачев тоже не обратился. Он и сейчас держится за социалистическую символику и фразеологию, он и сейчас говорит не о кризисе социализма, а о глобальном кризисе современного мира, включающем и кризис капитализма, он и сейчас употребляет выражения типа: «Марксистские или, вернее, псевдомарксистские догмы», подразумевающие, что есть «истинный марксизм» и его «догматические искажения». Мне иногда даже кажется, что он употребляет эту органичную для него фразеологию меньше, чем ему хотелось бы, сдерживает себя, чтобы не казаться совсем уж «старомодным» в среде современных российских политиков.

Человек, сделавший для падения коммунистической системы больше, чем кто-либо, не прошел через какое-либо драматическое отречение от своего «марксистско-ленинского» прошлого (ни в форме «обращения» в новую веру, ни в форме «снятия маски»). И мне думается, что здесь — ключ к пониманию Горбачева и его роли.

Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО НАЙДЕТСЯ МНОГО ЛЮДЕЙ, которые будут отрицать, что Горбачеву свойственны идеализм и храбрость. Можно как угодно ругать Горбачева и винить его во всех российских бедах, но то, что его деятельность никак не связана с какими-либо «личными интересами», соображениями выгоды и власти, очевидно. Свою власть он не увеличивал, а последовательно уменьшал — случай в российской да и мировой истории едва ли не уникальный. Конечно, можно сказать, что Горбачевым двигало честолюбие, любовь к аплодисментам народа и мирового сообщества, желание «красиво» войти в историю и т. п. Но это уже очень высокие и идеалистические формы «личных интересов». Равным образом деятельность Горбачева не объяснима и без какой-то почти легкомысленной храбрости, ибо для того, чтобы добровольно взять на себя немислимую работу по демонтажу существующей системы и преобразованию СССР в демократическое общество, нужно было не бояться не только за собственную судьбу и жизнь, но не бояться большего — не бояться взять на себя колоссальную ответственность, не бояться наделать глупостей и ошибок. Горбачева часто упрекают за то, что у него не было подробно разработанного «плана перестройки». Но такого плана и быть не могло, вернее, план-то мог быть, но к действительности он все равно не имел бы никакого отношения. Нельзя иметь серьезного, подробно разработанного плана, когда имеешь дело с творимой историей, живой жизнью, в которой действуют бесчисленные непонятные и не поддающиеся никакому учету и контролю факторы. Все великие дела истории были «импровизациями». Достаточно прочитать «Государством революции» Ленина, чтобы понять, что никаких ясных планов у него не было, а поскольку они были, они имели самое отдаленное отношение к действительности и к его реальным действиям. Горбачев совершил отчаянный прыжок в неизвестность, причем прыжок, который в отличие от ленинского ему лично никакого увеличения власти не сулил. Но что же за идеализм подтолкнул его к этому прыжку, если это не идеализм Конрада Валленрода или Штирлица, ждущих своего часа, чтобы нанести удар, и не идеализм человека, «прозревшего» где-то в 1985-м? И как сочетать его с успешной комсомольской, а затем партийной карьерой, по нашим представлениям, предполагающей любые качества, но не идеализм? Здесь что-то не складывается, не хватает какого-то важного психологического звена.

Мне думается, что очень многое становится понятным, если мы примем во внимание одно качество Горбачева. Я только дважды встречал употребление по отношению к Горбачеву эпитетов, указывающих на это качество. Один раз в книге его помощника Г. Шахназарова «Цена-свободы» (М., 1993), который пишет о горбачевской «простодушной вере в здравый смысл своих коллег» (стр. 47). Другой раз — в приводимой в мемуарах Горбачева статье в «Нью-Йорк тайме», посвященной речи Горбачева на Генеральной Ассамблее ООН в 1988 году, где она характеризуется такими словами: «Захватывающая дух, раскованная, смелая, наивная, героическая — все эти эпитеты подходят». Думаю, что ключевые слова здесь — «наивная» и «простодушная». Когда читаешь мемуары Горбачева, все время ловишь себя на мысли, что в его рассуждениях есть что-то наивное. Например, он пишет о своих «предперестроечных» мыслях: «Бели мы самое передовое общество в мире, то почему мы так отстаем по производительности труда и жизненному уровню? Если мы самое демократическое общество, то почему у людей нет духовной

свободы и никакой возможности влиять на политический процесс?» Эти фразы звучат едва ли не по-детски. Может быть, такие вопросы могли серьезно задаваться в начале 60-х, но в начале 80-х «серьезные люди» такие вопросы не задавали, ибо никто и думать не думал, что мы действительно можем быть самым передовым обществом. А как вам нравится фраза: «Я посвятил лето 1988 г. обдумыванию социализма». Ну какой «нормальный» человек будет посвящать в 1988 году свое лето такому странному занятию? В Горбачеве есть наивность и простодушие, которые проявляются как в отношении к идеям, в том числе, естественно, и к марксистским формулам, которые, похоже, воспринимались им с большей непосредственностью, более «буквально», чем большинством, так и в отношении к людям. Горбачева часто упрекали в безразличии к людям, способности слишком легко заменять одних другими в своем окружении, тасуя людей, как карты, и очень часто восхищались его манипуляторскими способностями. И то, и другое, очевидно, справедливо. Но это вполне сочетается с «простодушной верой в здравый смысл», и не только коллег, но всех — народа, мирового сообщества. И эти два «простодушия» — по отношению к идеям и по отношению к людям — неразрывно связаны. Горбачеву кажется, что та или иная идея, истина, к которой он пришел, настолько очевидна, что люди обязательно ее усвоят. Так, наверное, Лютеру казалось, что его истины настолько самоочевидны, что он вполне может убедить в них римского папу. Отчасти это «простодушие» — черта провинциальная. Мне думается, что-то, что Горбачев — человек, перебравшийся в столицу только в 1978 году, объясняет очень многое. Столица — культурнее, искушеннее, но и циничнее провинции. Реформация немислима в Риме, в центре идеологии (хотя там вполне мыслимо полное неверие). Она возникает в Германии, в идеологической провинции, где встречались такие наивные люди, как Лютер, которые все понимали «буквально». Но здесь, конечно, есть и что-то сугубо индивидуальное — просто у человека такой характер.

Это провинциальное простодушие, по-моему, во многом объясняет и карьеру Горбачева. Вообще ничего особенно удивительного в этой карьере нет. Крестьянский мальчик, в 16 лет получивший, орден Трудового Красного Знамени за уборку урожая и вступивший в 1952 году в партию (естественно, очень искренне — как иначе он мог в нее вступить в это время?), был «обречен» на большую карьеру. Но, полагаю, что способность думать не только о карьере, но и о деле, простодушие могли, как это ни странно звучит, только способствовать ей.

Чем более «прогнившей» становится идеология, тем больше, естественно, циников и дураков появляется в ее организации. Но тем больше она испытывает потребность в верящих в нее честных и умных людях." Им неоткуда взяться — «приличные» люди брезгают идти в нее. В брежневскую эпоху в московской интеллигентской среде человек, выбравший комсомольско-партийную карьеру, был бы подвергнут остракизму, и я лично таких людей просто не знаю (другое дело — перейти с уже достигнутой приличной позиции в научной иерархии на высокооплачиваемую партийную работу — это прощалось, ибо власть и деньги всегда вызывают уважение). И именно поэтому люди, которые могли говорить «коммунистическим языком», и при этом не становилось тут же очевидным, что они или лгут, или болваны, могли цениться на вес золота. В Москве таких людей не было, но в «отсталой» провинции они еще были возможны. Циничные старики

должны были любоваться Горбачевым — он доказывал им, что раз такой молодой, энергичный и умный человек говорит теми же словами, что и они, то, может быть, и впрямь в этих словах что-то есть, может быть, и в самом деле они служили, великому делу и у нас есть молодежь, которая и не прожженные карьеристы, и не циники, и не дураки, и не диссиденты.

И здесь же — объяснение перехода от успешной партийной карьеры к разрушению коммунистической системы. Дело в том, что, когда к застывшим и утратившим смысл формулам начинают подходить слишком серьезно, начинается Реформация. Как «простодушие» — необходимое психологическое звено для понимания деятельности Горбачева, так «творческое прочтение марксизма-ленинизма» — неразрывно связанное с ним необходимое идейное звено.

Работу, проделанную Горбачевым, можно совершить лишь в том случае, если ты не представляешь реально всей ее сложности и опасности. Если бы он начал все подсчитывать, перебирая в уме возможные варианты, он бы просто не смог за нее приняться. И ее нельзя осуществить, если ты воспринимаешь ее как работу разрушительную, работу по демонтажу. Ее можно было осуществить, лишь если ты веришь, что это — перестройка и ускорение, что ты не отрекаешься от прошлого, от своей идеологии, но их продолжаешь и развиваешь, беря из них лучшее, что то, к чему ты стремишься, это и есть «социализм по-ленински», это не «больше капитализма», а «больше социализма», и что то, к чему ты призываешь,— настолько очевидно хорошо и правильно, что люди просто не могут это не увидеть.

Горбачев — деятель несостоявшейся марксистской реформации, это реформатор-марксист, появившийся слишком поздно. Я никогда не мог толком понять, какой смысл вкладывается в слово «шестидесятник». Но, во всяком случае, З.Млынарж — университетский друг Горбачева, и мне кажется, что Горбачев очень естественно выглядел бы рядом с людьми типа Дубчека и Млынаржа, марксистскими реформаторами-либералами 60-х, эпохи «пражской весны» и аналогичных чешским марксистским кружков в России. В ставропольской провинции мог законсервироваться (или возродиться) этот дух, давно выветрившийся в Москве.

РАЗРУШЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ через «истинное прочтение» первоисточника, через «возвращение к истокам», разрушение через «развитие» и «укрепление» — ход, который повторяется в новой истории бесчисленные разы. Истоки идеологии всегда неизмеримо многозначнее, противоречивее и богаче, чем ее поздние догматизированные версии. И в истории любой идейной системы существует ритм движений от первоисточника к догме (от Маркса и Энгельса к сталинскому «Краткому курсу» и учебникам истмата, диамата и политической экономии) и в обратном направлении, когда ее приверженцы, вдруг ощутив, до какой степени официальная догматическая версия противоречит и изначальному содержанию идеологии, и реальности, и здравому смыслу, вновь обращаются, отбросив догматическую интерпретацию, к богатству первоисточника. При этом, даже если первоисточник читается абсолютно догматически, как действительно «священный текст», не могущий

ошибаться, прочитывающий его «заново» неизбежно вносит в него содержание, продиктованное временем, жизнью, модернизирует его при прочтении. Если же первоисточник уже не рассматривается как абсолютно сакральный, если допускаются его историческая обусловленность и ограниченность, возможности внесения в него нового, взятого из жизни содержания становятся почти безграничны.

«Новый завет» можно прочитать так, что ты вполне обнаружишь в нем оправдание сожжению еретиков на костре (те, кто занимался этим делом, не были ни идиотами, ни лицемерами), и можно прочесть, как его читают, например, современные либеральные протестанты. Задавать вопрос, какое прочтение «истинное», бессмысленно, ибо первоисточник многозначен, его «истинный смысл» — это пространство его возможных интерпретаций, прочтений, меняющееся от эпохи и общества к эпохе и обществу. И Маркса, и Ленина можно прочесть, как читает его, скажем, Ким Чен Ир, и можно — как читает какой-нибудь социал-демократ или как читал Горбачев.

То, что Горбачев выводил из марксистско-ленинской традиции (или, наоборот, вводил в нее), — это базовые современные ценности и современный здравый смысл. И сделать это можно не с большими натяжками, чем, например, у индуистских реформаторов, которые совершенно искренне утверждали, что никаких каст в индуизме не было — это какая-то позднейшая выдумка, а вот гуманизма и демократии в «правильно понятом» индуизме очень даже много. Попытка переосмыслить лозунг «Вся власть Советам» в духе современной демократии куда естественней, органичней, чем попытки найти парламент (и еще получше западных) в институтах «праведных халифов» или в древней Индии. И «новое мышление» — идею подчинения эгоистических интересов стран и идеологических систем общечеловеческим интересам и общечеловеческой морали — вполне можно обосновать если не Лениным, то Марксом.

Это отнюдь не значит, что марксистско-ленинская символика — это просто пустая форма, в которую Горбачев записывал современное общедемократическое содержание. У Горбачева, по-моему, очень много именно от марксизма-ленинизма (хотя не больше, чем у тоже очень зависящих от марксизма — но в отличие от Горбачева бессознательно, — демократов типа Гайдара). Само горбачевское «благодущие», его неиссякаемая вера, что народ надо только пробудить, а там «живое творчество масс» само приведет ко всему хорошему, на мой взгляд, имеет корни не только в особенностях горбачевской личности, но и в ленинской традиции. Вообще образ перестройки как своего родановой революции, несомненно, имеет ленинские корни. Специфически горбачевское ощущение, что мир — в кризисе и «беременен» чем-то принципиально новым, какой-то новой «формацией», очень марксистское. Естественно, что Горбачев не мог, как демороссы, считать, что все проблемы решат рынок и частная собственность, и не мог видеть целью реформ простое уподобление России странам Запада.

Но хотя это совсем не так мало и это придает горбачевской перестройке ее неповторимую идеологическую окраску, те простые, базовые современные ценности, которые Горбачев пытался обосновать в коммунистической терминологии и ссылками на Ленина (и к которым он приходил в ходе своего «обдумывания социализма»), близки тем, к которым приходили другие люди, при переработке других традиций. Горбачев — естественный

«экуменист». Конечно, ближе всего ему были западные социалисты и еврокоммунисты, и наиболее тёплые отношения из западных лидеров у него были с Ф. Гонсалесом. Но при такого рода переосмыслении своих идейных традиций возможности сближения становятся почти неограниченными. Я думаю, например, что любви к Горбачеву в США способствовало не только то, что он освободил американцев от страха ядерной конфронтации, но и то, что некоторые горбачевские речи звучат поразительно «по-американски» — в духе идеалистического прогрессизма Вильсона, Кеннеди, всяких «новых границ» и «новых рубежей». Совершенно не случайны симпатии к Горбачеву папы Иоанна Павла II и т. д. По-моему, просто удивительное сходство у Горбачева с А. Сахаровым, с его тоже, не полным принятием капитализма (идеей конвергенции), глобальным видением мира и морализмом — значительно большее, чем у Сахарова с его «демороссовским» окружением.

Я УЖЕ ГОВОРИЛ, что никакого подробного «плана перестройки» у Горбачева не было и быть не могло. Но образ того, к чему он стремился, был несомненно.

Это — образ его самого как не просто лидера СССР и демократического реформатора советского общества, но и как архитектора нового мира, новых принципов межгосударственных и идеологических отношений.

Это — образ КПСС, которая, очевидно, должна была в конце концов избавиться от крайних фракций, получить новое название и стать партией социал-демократического типа, способной работать в условиях свободы и политического плюрализма, но при этом продолжающей оставаться у власти (демократическим путем), интегрируя разнородное общество и отодвигая на обочину политической жизни всякие «крайности», — партией, напоминающей по своим функциям Индийский Национальный Конгресс горбачевского друга Раджива Ганди. При этом вокруг КПСС, вернее, ее преемника, группировались бы разные левые силы, как это уже началось на встрече левых партий в Москве в 1987 году, где финский коммунистический лидер А. Аалто сказал, что КПСС при Горбачеве может стать «неформальным руководителем международного левого движения».

Это — образ «смешанной экономики», которая называлась бы социалистической и была бы, наверное, похожа на экономический строй Швеции и других стран с сильным вмешательством государства в экономику и большим перераспределением доходов.

Это — образ СССР или какого-то его преемника как единого, хотя и менее централизованного, с большими правами республик, государства.

Это — образ международных отношений, где господствует новое мышление и где СССР играет ведущую роль в решении глобальных проблем и становлении нового правового и демократического миропорядка, основанного на усилении и реформировании ООН. Был ли этот образ утопичным? В какой-то мере, разумеется, ибо любые подобные образы, даже если они претворяются в жизнь, в этой жизни всегда получают какие-то «добавочные», непредусмотренные черты, делающие реальность менее радужной, чем проект. Кроме того, если бы этот образ и претворился в жизнь, он все равно не был бы

«конечным» состоянием. Преображенная и прочно стоящая у власти КПСС через какое-то время стала бы тормозом развития и основной проблемой (как в Индии ИНК), создала бы невозможность или крайнюю трудность установить нормальное чередование у власти разных политических сил. СССР наверняка мог бы держаться какое-то время, но представить себе прочным добровольное объединение столь разных народов, как эстонцы и туркмены, очень трудно; наверняка скоро дезинтеграционные процессы возобновились бы и в конце концов взяли бы верх и т. д.

Но хотя горбачевский образ реализовавшейся перестройки нельзя воспринимать как прочное состояние и воплощенную в жизнь утопию, я думаю, что ничего совсем уж несбыточного в нем не было. Какой-то относительно большой период времени мы могли бы жить в этом «горбачевском мире». И я уверен, что наше «вхождение в мировую цивилизацию» через такой длительный горбачевский период было бы более безболезненным и менее рискованным, чем тот путь, по которому мы пошли, а сама эта «цивилизация» и «мировой порядок» были бы при этом значительно прочнее и человечнее.

Сформировавшиеся на Западе и ставшие сейчас общечеловеческими демократические ценности очень трудно усваиваются, когда они воспринимаются именно как западные, в западной форме и «упаковке», когда их усвоение ощущается как отказ от себя, отречение от своего прошлого и своей индивидуальности, признание чужого, западного превосходства. Успешные «вестернизации» осуществлялись всегда не под лозунгами заимствования, а под лозунгами воссоздания своих, изначальных, значительно лучших, чем западные, но почему-то только, к сожалению, забытых и искаженных ценностей (которые, правда, в конечном счете оказываются удивительно похожими на западные). Парламент не должен быть парламентом, он должен быть меджлисом, лок сабхой и т. д. Демократия должна быть «исламской», «древне и искони тюркской», «индусской» и т. п. У нас же при горбачевском варианте развития она была бы, естественно, «советской», а рынок — «социалистическим», тем, о котором мечтал Ленин и от которого затем отказался отступивший от истинных идеалов социализма Сталин.

Все это, конечно, можно назвать самообманом. Но это, во всяком случае, не только и не просто самообман. Это еще и работа по различению того в современных ценностях, что является действительно общечеловеческим и что лишь специфически западное, это перевод современных ценностей на свой, понятный язык и нахождение своего способа вхождения в мир этих ценностей. Внешне этот путь более медленный, ибо это путь эволюции и сохранения символической преемственности, на деле он не только более стабильный, но и более быстрый, ибо задержки возникают из-за реакций и провалов. Почему же этот путь не удался?

Я НЕ ХОЧУ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ТЕМЕ «ошибок Горбачева». Их, естественно, было много, и также естественно, что мы их не знаем, ибо просчитать все следствия всех возможных ходов нельзя (мне лично думается, что из частных неверных ходов наиболее важными были два — проведение выборов народных депутатов СССР до, а не после выборов в республиках, и то, что Горбачев не спровоцировал где-то в 1988—1990 годах выхода из КПСС ее крайне «фундаменталистского» крыла). Но все это — частные неверные ходы, за которыми стоит нечто большее.

Причина неудачи Горбачева (вернее, не полной удачи, ибо значительная часть того, что он хотел, все же реализовалась), как и причина любой неудачи, — в несоответствии сил задаче. Задача была невысказанно трудна. Горбачев пришел слишком поздно — отнюдь не слишком поздно для развала системы, — наоборот, с каждым годом ее развал был бы легче, но поздно для ее «реформационной», «горбачевской» трансформации.

Горбачевский путь — это путь сохранения социалистической марксистско-ленинской символики, путь внесения нового содержания в старые формы. Но для его успеха необходим был какой-то минимум людей, думавших и чувствовавших так же, как Горбачев. И если в 60-е, может быть, даже в начале 70-х годов такой слой, слой людей, готовых к «творческому прочтению» марксизма-ленинизма в демократическом духе или даже действительно занимавшихся таким прочтением, был, то к 1985 году от него почти ничего не осталось. Сохранившаяся в народе и у части бюрократии приверженность к советскому прошлому, советским формам жизни имеет совсем иную, не марксистскую, а традиционалистскую основу (это прекрасно видно в нашей КПРФ, которая — все что угодно, но не марксистская партия).

Горбачева вначале приветствовали едва ли не все. Но его фразеологию, его символику буквально воспринимало лишь ничтожное меньшинство. Его «социализм по-ленински» мог радовать многих, думавших при этом, что это печальная, но неизбежная дань прошлому и партийной номенклатуре и «обман трудящихся». Партийная верхушка, с одной стороны, оказывала сопротивление реформам, поскольку они угрожали подорвать ее положение, с другой — была готова в любой момент послать весь этот марксизм-ленинизм к черту, если это только поможет сохранить иерархические позиции и продолжить карьеру, что она потом почти вся целиком и сделала. (По-моему, очень интересная и характерная деталь: Горбачев не мог найти среди своих соратников и помощников человека, который с охотой занялся бы проблемами международного коммунистического движения. Яковлев и Фалин, которым это было поручено, занимались этим без всякой охоты. Почему? Очевидно потому, что это было «непрестижно», поскольку их реальной «референтной группой» был скорее западный истеблишмент.) Интеллигенция долго копила в себе антисоветские и антимарксистские чувства, которые начали со всей силой устремляться наружу.

Горбачев оказался поразительно одинок и в конечном счете брошен всеми прежде всего потому, что его символика, его «социалистические ценности», «социализм по Ленину» никому дороги не были, ни у кого отклика не находили, казались «пустословием». Но и сам Горбачев не выдерживает. Его «марксизм-ленинизм» становится все более шатким, «марксистского стержня» ему явно не хватает. И хотя он описывает встречу с М. Тэтчер в 1984 году как встречу двух людей с разными и твердыми убеждениями, но уважающих друг друга и сошедшихся на почве общих проблем и общих ценностей, в конечном счете убеждения М. Тэтчер оказались, безусловно, тверже. Удержаться на «социалистической» позиции Горбачеву было крайне трудно, и здесь, мне кажется, большую негативную роль сыграли две горбачевские «референтные группы».

Во-первых, Горбачеву, человеку, кончившему университет, но явно за свою занятую парработой жизнь много «не дочитавшему», свойственно громадное почтение к культуре, образованию, интеллигенции. Он пишет, как легче и приятнее ему были встречи с интеллигенцией, чем с парработниками. Все свои заграничные поездки он проделывает с громадными свитами из деятелей искусств и ученых, и вообще эпоха Горбачева — это время, когда интеллигенция была близка к власти как никогда раньше. Очевидно, большую роль в культивировании «интеллигентских ценностей» играла Раиса Максимовна. Картинный (до гротескности) символ нашей интеллигенции — академик Лихачев, судя по всему, играл у Горбачевых роль своего рода «гуру». (Затем эта «совесть русской интеллигенции», не задумываясь, бросает потерпевшего поражение Горбачева и перебегает к победителю Ельцину. Вообще Горбачева продавали едва ли не все, кто имел какую-либо возможность сделать это, и то, что он специально отмечает этот факт, говорит о том, что это его задело за живое.) Между тем интеллигенцию ему надо было слушать меньше, чем кого-либо, ибо как раз в этом слое приверженности «идеалам социализма»

было меньше, чем в любом другом. Интеллигенция только толкала Горбачева под руку, сбивая его с его «социалистической» позиции, единственной позиции, при которой мог бы осуществиться его план «вхождения СССР в мировую цивилизацию», ускоряя его и свое собственное падение.

Вторая референтная группа — это Запад. Громадная роль переговоров с Западом и поездок на Запад, конечно, в значительной мере была продиктована необходимостью предотвращения угрозы войны и прекращения гонки вооружений. Связана она и с имманентным горбачевскому мышлению «глобализмом», идеей, что перестройка в СССР — только часть некоей всемирной перестройки, рождения нового миропорядка. Но здесь, по-моему, было и другое. Для всех советских людей, в том числе и для партийной верхушки, Запад всегда был предметом вождения. Поездки на Запад были важнейшим статусным символом. Тут уж ничего поделать нельзя — это «в крови», в культуре. В какой-то мере, очевидно, так было и для Горбачевых, тем более что до их «восхождения» поездок на Запад у них практически не было. Между тем на Западе у Горбачева — оглушительный успех. Запад был абсолютно не готов к перестройке и на 100 процентов ее не предвидел (как он вообще мало чего у нас предвидел). Горбачеву пришлось преодолевать сопротивление западного антикоммунизма, выглядящее сейчас просто смешно — доходившее до твердого убеждения, что вся перестройка — большой обман, тайный план подорвать западное единство и притупить западную бдительность (если западные политики умнее наших, то не намного). Но когда Запад убедился в искренности и последовательности Горбачева, возникла «горбимания». То, что во главе СССР может появиться человек «с нормальным человеческим лицом», казалось чудом, и вокруг этого человека начались восторженные хороводы. Разрыв между все усиливающимися нападками внутри СССР и «горбиманией» на Западе становится все больше. «Иногда мне казалось, — пишет Горбачев, — что понимание значения перестройки за границей было больше, чем в нашей собственной стране». Это ведет к двум опасным следствиям. Во-первых, внимание Горбачева чрезмерно отвлекается на Запад. Он явно отдыхает душой во время частых поездок, в то время как в стране нарастают оппозиция и хаос. Во-вторых, очевидно, Горбачев чрезмерно прислушивался к западным советам. Я очень далек от мысли, что Запад советовал «всякие гадости» и стремился к развалу СССР. Напротив, он пытался даже в какой-то мере удержать СССР, сбить дезинтеграционные процессы. Но Запад смотрел на СССР своими и не очень-то много видящими глазами. И может быть, как раз с точки зрения «правильно понятых» интересов Запада было бы лучше, если бы Горбачев проявлял к нему большее безразличие.

Интеллигентская и западная «референтные группы» способствовали эрозии горбачевской реформаторской линии, сбивали его с пути, который и без того был предельно труден, ибо реальной поддержки его «социализм с человеческим лицом» в нашей стране практически не имел.

Но были и другие, непосредственно связанные уже не с влияниями, а с самой личностью Горбачева факторы его поражения.

Я УЖЕ ГОВОРИЛ, что вся грандиозная разрушительно-созидательная работа Горбачева немыслима без идеализма и смелости, в которых есть элемент «прекраснодушия», наивности. И именно эти черты Горбачева, без которых не было бы перестройки, способствовали ее и его поражению.

Горбачев систематически переоценивал «здравый смысл» всех, в том числе и народа в целом. Я совсем не хочу сказать, что народ — это стадо, понимающее лишь палку, или что-нибудь в этом роде. Здравый смысл у народа, безусловно, есть, и, более того, я

думаю, что хаотичные, противоречивые, непоследовательные результаты опросов общественного мнения в целом ближе к здравому смыслу, чем программы политиков и идеологические построения интеллигентов. Но Горбачев очень правильно пишет, что в политике главное — найти «меру». С верой же в здравый смысл народа он явно перебрал. Ему все время казалось, что не могут же люди не быть рады самим организовывать собственную жизнь, что не могут же такие прекрасные армянские интеллигенты толкать Армению на путь войны и нищеты, что не могут же народы СССР согласиться на разделение государства, которое, очевидно, повлечет за собой массу бед, и т. д., что еще немного, еще чуть-чуть, и все опомнятся. Но он ошибался.

Нельзя было ожидать от людей, которых он сам только что вывел из «тоталитарной тюрьмы», которых он еще очень долго раскачивал, объясняя им, что бояться его больше не надо, поведения людей нормальных, взрослых, ответственных и свободных. Когда-нибудь они такими будут. Но ждать от них подобного поведения в 1989—1991 годах было проявлением крайнего «прекраснодушия». Люди, конечно, хотели свободы, но и боялись ее, боялись не отделимой от свободы неопределенности и боялись самих себя. И совершенно естественно, что они бросились на освободившего их Горбачева, совершенно как в Библии выведенные из египетского плена евреи бросаются на Моисея.

Горбачев прекрасно мог справиться с оппозицией и удержать или вернуть народную любовь. Надо было только демонстративно проявлять «твердость», «жесткость», «мужество». Где-то в 1988—1989 годах достаточно было окрика, чтобы сбить начинающуюся «революционную» волну. Но хотя Горбачев — человек, безусловно, мужественный и твердый, а ставший его основным соперником Ельцин — это человек, способный на чисто истерическую, демонстративную и неудачную попытку самоубийства из-за служебных неприятностей, в глазах народа Горбачев по части мужества ему проигрывал. Мужество Горбачёва было не демонстративное. Это мужество человека, идущего до конца, принимающего поражение, утрату власти и унижение и принципиально стремящегося избежать насилия. Горбачев не приказывает, не угрожает, не вешает, а уговаривает: «Давайте думать вместе». И говорит он это людям, которые истосковались по «твердой руке» и думать вместе совершенно не желали. Естественно, что такое мужество до этих людей не доходит, оно кажется слабостью и нерешительностью. Девушки любят не храбрых людей, а гусаров с усами и саблями. Но дело не только в народном желании «сильной руки» и необходимости учитывать это желание в политической «педагогике». Горбачевское стремление решать все уговорами и переговорами, избегая насилия, было чрезмерным не только в данной ситуации растерянного, ошалевшего от свободы и боящегося ее народа, но и просто объективно чрезмерным и, пожалуй, морально сомнительным. Я не уверен, например, что демонстративное насилие, примененное в начале армяно-азербайджанского конфликта к Сумгаитским погромщикам и к армянам, изгонявшим азербайджанцев, или во время событий в Фергане, было бы неправильным не только с политической, но и с моральной точки зрения. Горбачевская «вера в здравый смысл» переходила в самообман, в потворство анархии и преступлениям.

С горбачевским «прекраснодушием» и оптимизмом связана и горбачевская спешка. Эта спешка вообще имманентна горбачевскому ощущению кризиса и началу новой эры и, как мне представляется, имеет, как и вера в «живое творчество масс», не только индивидуально-психологические, корни, но и корни в марксистской традиции (затем так же будут спешить Гайдар и его команда). И даже сейчас у Горбачева, пишущего о нахождении правильной меры как о высшем достижении политика, нет достаточной ясности в вопросе о том, чрезмерно он спешил или нет. Он пишет, что слишком медлил с

рыночными реформами и вообще медлил, когда время поджимало. С другой стороны, он с явным сочувствием цитирует французскую журналистку Лили Марку, сказавшую ему: «Слишком быстро». Я лично думаю, что, хотя во многом он, возможно, и медлил, в целом Лили Марку была права. История «замедлила» с появлением Горбачева, усложнив его задачу, но сам он, по-моему, чрезмерно спешил, ибо, когда развязывается стихийный, революционный процесс, когда машина несется с горы, думать надо только об одном — о тормозах.

Сказанное выше — гипотетическая и, как я отлично понимаю, поверхностная попытка нащупать какие-то связи между исторической ролью Горбачева и его личностью и мировоззрением.

История еще будет много раз судить и «пересуживать» о Горбачеве. Будут говорить о счастливых случайностях и об упущенных возможностях, будут возвеличивать Горбачева и будут его разоблачать и принижать, делать из него иконный образ и затем эту икону разбивать. Но одно ясно: и через 100, и 200 лет его личность будет притягивать и ученых, и людей искусства (какое через 100 лет будет искусство — один Бог знает), и его имя будет известно всем, в то время как имена и его противников, и его соратников, тех, кто льстил ему вначале, кто позже обвинял его во всех смертных грехах, всех тех, кто старательно дистанцировался от него после его падения, будут храниться в каких-нибудь компьютерных кладовых в файле под рубрикой «Персонажи эпохи Горбачева» и интересоваться будут лишь самых узких специалистов.

Я старался в этих «заметках» быть объективным и писать, руководствуясь своим разумом, а не чувствами (хотя до конца «вынести за скобку» свое отношение к человеку, о котором ты пишешь, невозможно). Но кончить их я хочу выражением своих чисто личных, субъективных чувств. Я не «патриот» в том смысле, который сейчас стал вкладываться в это слово, то есть не приверженец «патриотической» идеологии. Но какой-то чисто психологический, не идейный патриотизм у меня, очевидно, очень сильный. И он проявлялся, в частности, в том, что в годы Брежнева и Черненко мне было стыдно встречаться с иностранцами. Я как-то не мог отделить себя от государства, и у меня все время было ощущение: что бы я ни говорил, иностранцы помнят, что я «подданный» этих людей. И было только несколько лет, когда я ощущал гордость за свою страну и за ее лидеров и даже чуть ли не превосходство перед иностранцами. Это 1985—1990 годы. Это действительно прекрасное и незабываемое ощущение, и я благодарен Горбачеву за то, что он мне его подарил.